



## Дневник Сатаны

### I

*18 января 1914 г.*

*На борте «Атлантика»*

Сегодня ровно десять дней, как Я вочеловечился и веду земную жизнь.

Мое одиночество очень велико. Я не нуждаюсь в друзьях, но Мне надо говорить о себе, и Мне не с кем говорить. Одних мыслей недостаточно, и они не вполне ясны, отчетливы и точны, пока Я не выражу их словом: их надо выстроить в ряд, как солдат или телеграфные столбы, протянуть, как железнодорожный путь, перебросить мосты и виадуки, построить насыпи и закругления, сделать в известных местах остановки — и лишь тогда все становится ясно. Этот каторжный инженерный путь называется у них, кажется, логикой и последовательностью и обязателен для тех, кто хочет быть умным; для всех остальных он не обязателен, и они могут блуждать, как им угодно.

Работа медленная, трудная и отвратительная для того, кто привык единым... не знаю, как это назвать, — единым дыханием схватывать все и единым дыханием все выражать. И недаром они так уважают своих мыслителей, а эти несчастные мыслители, если они честны и не мошенничают при постройке, как обыкновенные инженеры, не напрасно попадают в сумасшедший дом. Я всего несколько дней на земле, а уж не раз предо Мною мелькали его желтые стены и приветливо раскрытая дверь.

Да, чрезвычайно трудно и раздражает «нервы» (тоже хорошенькая вещь!). Вот сейчас — для выражения

маленькой и обыкновенной мысли о недостаточности их слов и логики Я принужден был испортить столько прекрасной паровой бумаги... а что же нужно, чтобы выразить большое и необыкновенное? Скажу заранее, — чтобы ты не слишком разевал твой любопытный рот, мой земной читатель! — что *необыкновенное* на языке твоего ворчания *невыразимо*. Если не веришь Мне, сходи в ближайший сумасшедший дом и послушай тех: они все познали *что-то* и хотели выразить его... и ты слышишь, как шипят и вертят в воздухе колесами эти свалившиеся паровозы, ты замечаешь, с каким трудом они удерживают на месте разбегающиеся черты своих изумленных и пораженных лиц?

Вижу, как ты и сейчас уже готов закидать Меня вопросами, узнав, что Я — вочеловечившийся Сатана: ведь это так интересно! Откуда Я? Каковы порядки у нас в аду? Существует ли бессмертие, а также каковы цены на каменный уголь на последней адской бирже? К несчастью, мой дорогой читатель, при всем моем желании, если бы таковое и существовало у Меня, Я не в силах удовлетворить твое законное любопытство. Я мог бы сочинить тебе одну из тех смешных историй о рогатых и волосатых чертях, которые так любезны твоему скудному воображению, но ты имеешь их уже достаточно, и Я не хочу тебе лгать так грубо и так плоско. Я солгу тебе где-нибудь в другом месте, где ты ничего не ждешь, и это будет интереснее для нас обоих.

А правду — как ее скажу, если даже мое *Имя* невыразимо на твоём языке? Сатаной назвал меня ты, и Я принимаю эту кличку, как принял бы и всякую другую: пусть Я — Сатана. Но мое истинное имя звучит совсем иначе, совсем иначе! Оно звучит необыкновенно, и Я никак не могу втиснуть его в твое узкое ухо, не раздрав его вместе с твоими мозгами: пусть Я — Сатана, и только.

И ты сам виноват в этом, мой друг: зачем в твоём разуме так мало понятий? Твой разум как нищенская сума, в которой только куски черствого хлеба, а здесь нужно

больше, чем хлеб. Ты имеешь только два понятия о существовании: жизнь и смерть — как же Я объясню тебе *третье*? Все существование твое является чепухой только из-за того, что ты не имеешь этого *третьего*, и где же Я возьму его? Ныне Я человек, как и ты, в моей голове твои мозги, в моем рту мешкотно толкутся и колются углами твои кубические слова, и Я не могу рассказать тебе о Необыкновенном.

Если Я скажу, что чертей нет, Я обману тебя. Но если Я скажу, что они есть, Я также обману тебя... Видишь, как это трудно, какая это бессмыслица, мой друг! Но даже о моем вочеловечении, с которого десять дней назад началась моя земная жизнь, Я могу рассказать тебе очень мало понятного. Прежде всего забудь о твоих любимых волосатых, рогатых и крылатых чертях, которые дышат огнем, превращают в золото глиняные осколки, а старцев — в обольстительных юношей и, сделав все это и наболтав много пустяков, мгновенно проваливаются сквозь сцену, — и запомни: когда мы хотим прийти на твою землю, мы должны вочеловечиться. Почему это так, ты узнаешь после смерти, а пока запомни: Я сейчас человек, как и ты, от Меня пахнет не вонючим козлом, а недурными духами, и ты спокойно можешь пожать мою руку, нисколько не боясь оцарапать о когти: Я их так же стригу, как и ты.

Но как это случилось? Очень... просто. Когда Я захотел прийти на землю, Я нашел одного подходящего, как помещение, тридцативосьмилетнего американца, мистера Генри Вандергуда, миллиардера, и убил его... конечно, ночью и без свидетелей. Но притянуть Меня к суду, несмотря на мое сознание, ты все-таки не можешь, так как американец *жив*, и мы оба в одном почтительном поклоне приветствуем тебя: Я и Вандергуд. Он просто сдал мне пустое помещение, понимаешь — да и то не все, черт его побери! И вернуться *обратно* Я могу, к сожалению, лишь той дверью, которая и тебя ведет к свободе: через смерть.

Вот главное. Но в дальнейшем и ты можешь кое-что понять, хотя говорить о таких вещах твоими словами — все едино, что пытаться засунуть гору в жилетный карман или наперстком вычерпать Ниагару! Вообрази, что ты, дорогой мой царь природы, пожелал стать ближе к муравьям и силою чуда или волшебства сделался муравьем, настоящим крохотным муравьем, таскающим яйца, — и тогда ты немного почувствуешь ту пропасть, что отделяет Меня бывшего от настоящего... нет, еще хуже! Ты был звуком, а стал нотным значком на бумаге... Нет, еще хуже, еще хуже, и никакие сравнения не расскажут тебе о той страшной пропасти, дна которой Я еще сам не вижу. Или у нее совсем нет дна?

Подумай: Я двое суток, по выходе из Нью-Йорка, страдал *морской болезнью!* Это смешно для тебя, привыкшего валяться в собственных нечистотах? Ну, а Я — Я тоже валялся, но это не было смешно нисколько. Я только раз улыбнулся, когда подумал, что *это* не Я, а Вандергуд, и сказал:

— Качай, Вандергуд, качай!

...Есть еще один вопрос, на который ты ждешь ответа: зачем Я пришел на землю и решил на такой невыгодный обмен — из Сатаны, «всемогущего, бессмертного, повелителя и властелина» превратился в... тебя? Я устал искать слова, которых нет, и Я отвечу тебе по-английски, французски, итальянски и немецки, на языках, которые мы оба с тобою хорошо понимаем: Мне стало скучно... в аду, и Я пришел на землю, чтобы лгать и играть.

Что такое скука, тебе известно. Что такое ложь, ты хорошо знаешь, и об *игре* ты можешь несколько судить по твоим театрам и знаменитым актерам. Может быть, ты и сам играешь какую-нибудь маленькую вещичку в парламенте, дома или в церкви? — тогда ты кое-что поймешь и в чувстве *наслаждения* игрою. Если же ты вдобавок знаешь таблицу умножения, то помножь этот восторг и наслаждение игры на любую многозначную цифру, и тогда получится мое наслаждение, моя игра. Нет, еще больше!

Вообрази, что ты океанская волна, которая вечно играет и живет только в игре, — вот эта, которую сейчас Я вижу за стеклом и которая хочет поднять наш «Атлантик»... Впрочем, Я опять ищу слов и сравнений!

Просто Я хочу играть. В настоящую минуту Я еще неведомый артист, скромный дебютант, но надеюсь стать знаменитым не менее твоего Гаррика или Ольбриджа — когда сыграю, что хочу. Я горд, самолюбив и даже, пожалуй, тщеславен... ты ведь знаешь, что такое тщеславие, когда хочется похвалы и аплодисментов хотя бы дурака? Далее, Я дерзко думаю, что Я гениален, — Сатана известна своею дерзостью, — и вот вообрази, что мне надоел ад, где все эти волосатые и рогатые мошенники играют и лгут почти не хуже, чем Я, и что Мне недостаточно адских лавров, в которых Я пронизательно усматриваю немало низкой лести и простого тупоумия. О тебе же, мой земной друг, Я слышал, что ты умен, довольно честен, в меру недоверчив, чуток к вопросам вечного искусства и настолько скверно играешь и лжешь сам, что способен высоко оценить чужую игру: ведь неспроста у тебя столько великих! Вот Я и пришел... понятно?

Моими подмостками будет земля, а ближайшей сценой Рим, куда Я еду, этот «вечный» город, как его здесь называют с глубоким пониманием вечности и других простых вещей. Труппы определенной Я еще не имею (не хочешь ли и ты вступить в нее?), но верю, что Судьба или Случай, которому Я отныне подчинен, как и все ваше земное, оценит мои бескорыстные намерения и пошлет навстречу достойных партнеров... старая Европа так богата талантами! Верю, что и зрителей в этой Европе найду достаточно чутких, чтобы стоило перед ними красить рожу и мягкие адские туфли заменять тяжелыми котурнами. Признаться, раньше Я подумывал о Востоке, где уже не без успеха подвизались когда-то некоторые мои... соотечественники, но Восток слишком доверчив и склонен к балету, как и яду, его боги безобразны, он еще слишком воняет полосатым зверем, его тьма и огни

варварски грубы и слишком яркие, чтобы такому тонкому артисту, как Я, стоило идти в этот тесный и вонючий балаган. Ах, мой друг, Я ведь так тщеславен, что и этот Дневник начинаю не без тайного намерения восхитить тебя... даже моим убожеством в качестве Искателя слов и сравнений. Надеюсь, что ты не воспользуешься моей откровенностью и не перестанешь Мне верить?

Есть еще вопросы? О самой пьесе Я сам толком не знаю, ее сочинит тот же импресарио, что привлечет и актеров, — Судьба, — а моя скромная роль для начала: человека, который так полюбил других людей, что хочет отдать им все — душу и деньги. Ты не забыл, конечно, что Я миллиардер? У Меня три миллиарда. Достаточно, не правда ли, для одного эффектного представления? Теперь еще одна подробность, чтобы закончить эту страницу.

Со мною едет и разделит мою судьбу некто Эрвин Топпи, мой секретарь, личность весьма почтенная в своем черном сюртуке и цилиндре, с своим отвислым носом, похожим на незрелую грушу, и бритым пасторским лицом. Не удивлюсь, если в кармане у него найду походный молитвенник. Мой Топпи явился на землю — *оттуда*, то есть из ада, и тем же способом, как и Я: он также во-человечился и, кажется, довольно удачно — бездельник совершенно нечувствителен к качке. Впрочем, даже для морской болезни нужен некоторый ум, а мой Топпи глуп непроходимо — даже для земли. Кроме того, он груб и дает советы. Я уже несколько раскаиваюсь, что из богатого *нашего* запаса не выбрал для себя скотины получше, но Меня соблазнила его честность и некоторое знакомство с землею: как-то приятнее было пускаться в эту прогулку с бывалым товарищем. Когда-то — давно — он уже принимал человеческий образ и настолько проникся религиозными идеями, что — подумай! — вступил в монастырь братьев-францисканцев, прожил там до седой старости и мирно скончался под именем брата Винцента. Его прах стал предметом поклонения для верующих, —

недурная карьера для глупого Черта! — а сам он снова со Мною и уже нюхает, где пахнет ладаном: неискоренимая привычка! Ты его, наверное, полюбишь.

А теперь довольно. Пойди вон, мой друг. Я хочу быть один. Меня раздражает твое плоское отражение, которое я вызвал на этой стене, и Я хочу быть один, или только хоть с этим Вандергудом, который отдал Мне свое помещение и в чем-то мошеннически надул Меня. Море спокойно, Меня уже не тошнит, как в эти проклятые дни, но Я чего-то боюсь. Я — боюсь! Кажется, Меня пугает эта темнота, которую они называют ночью и которая ложится над океаном: здесь еще светло от лампочек, но за тонким бортом лежит ужасная тьма, где совсем бессильны мои глаза. Они и так ничего не стоят, эти глупейшие зеркала, умеющие только отражать, но в темноте они теряют и эту жалкую способность. Конечно, Я привыкну и к темноте, Я уже ко многому привык, но сейчас Мне нехорошо и страшно подумать, что только поворот ключа — и Меня охватит эта слепая, вечно готовая тьма. Откуда она?

И какие они храбрые с своими тусклыми зеркальцами, — ничего не видят и говорят просто: здесь темно, надо зажечь свет! Потом сами тушат и засыпают. Я с некоторым удивлением, правда холодноватым, рассматриваю этих храбрецов и... восхищаюсь. Или для страха нужен слишком большой ум, как у Меня? Ведь это не ты же такой трус, Вандергуд, ты всегда слыл человеком закаленным и бывалым!

Одной минуты в моем вочеловечении Я не могу вспомнить без ужаса: когда Я впервые услышал биение моего сердца. Этот отчетливый, громкий, отсчитывающий звук, столько же говорящий о смерти, сколько и о жизни, поразил меня неиспытанным страхом и волнением. Они всюду суют счетчики, но как могут они носить в своей груди *этот* счетчик, с быстротою фокусника справаживающий секунды жизни?

В первое мгновение Я хотел закричать и немедленно ринуться *вниз*, пока еще не привык к жизни, но взглянул

на Топпи: этот новорожденный дурак спокойно рукавом сюртука чистит свой цилиндр, Я захохотал и крикнул:

— Топпи! Щетку!

И мы чистились оба, а счетчик в моей груди считал, сколько секунд это продолжалось, и, кажется, прибавил. Потом, впоследствии, слушая его назойливое тиканье, Я стал думать: «Не успею!» Что не успею? Я сам этого не знал, но целых два дня бешено торопился пить, есть, даже спать: ведь счетчик не дремлет, пока Я лежу неподвижной тушей и сплю!

Сейчас Я уже не тороплюсь. Я знаю, что Я успею, и мои секунды кажутся мне неистощимыми, но мой счетчик чем-то взволнован и стучит, как пьяный солдат в барабан. А как, — эти маленькие секунды, которые он сейчас выбрасывает, — они считаются равными большим? Тогда это мошенничество. Я протестую, как честный гражданин Соединенных Штатов и коммерсант!

Мне нехорошо. Сейчас Я не оттолкнул бы и друга, вероятно, это хорошая вещь, друзья. Ах! Но во всей вселенной Я один!

*7 февраля 1914 г.*

*Рим, отель «Интернациональ»*

Я каждый раз бешусь, когда Мне приходится брать палку полицейского и водворять порядок в моей голове: факты направо! мысли налево! настроения назад! — дорогу его величеству Сознанию, которое еле ковыляет на своих костылях. Но нельзя — иначе бунт, шум, неразбериха и хаос. Итак — к порядку, джентльмены-факты и леди-мысли! Я начинаю.

Ночь. Темнота. Воздух вежлив, и тепел, и чем-то пахнет. Топпи внюхивается с наслаждением, говоря, что это Италия. Наш стремительный поезд подходит уже к Риму, мы блаженствуем на мягких диванах, когда — крах! — и все летит к черту: поезд сошел с ума и сковырнулся.

Сознаюсь без стыда, — я не храбрец! — что Мною овладел ужас и почти беспамятство. Электричество погасло, и когда Я с трудом вылез из какого-то темного угла, куда Меня сбросило, Я совершенно забыл, где выход. Всюду стены, углы, что-то колется, бьется и молча лезет на Меня. И все в темноте! Вдруг под ногами труп, Я наступил прямо на лицо; уже потом Я узнал, что это был мой лакей Джорж, убитый наповал. Я закричал, и здесь мой неуязвимый Топпи выручил Меня: схватил Меня за руку и повлек к открытому окну, так как оба выхода были разбиты и загромождены обломками. Я выпрыгнул на землю, но Топпи что-то застрял там; мои колена дрожали, дыхание выходило со стоном, но он все не показывался, и Я стал кричать.

Вдруг он высунулся из окна:

— Чего вы кричите? Я ищу наши шляпы и ваш портфель.

И действительно: скоро он подал мне шляпу, а потом вылез и сам — в цилиндре и с портфелем. Я захохотал и крикнул:

— Человек! Ты забыл зонтик!

Но этот старый шут не понимал юмора и серьезно ответил:

— Я же не ношу зонтика. А вы знаете: наш Джорж убит и повар тоже.

Так эта падаля, которая не чувствует, как ступают по его лицу, — наш Джорж! Мною снова овладел страх, и вдруг Я услышал стоны, дикие вопли, визг и крики, все голоса, какими вопит храбрец, когда он раздавлен: раньше Я был как глухой и ничего не слышал. Загорелись вагоны, появился огонь и дым, сильнее закричали раненые, и, не ожидая, пока жаркое поспеет, Я в беспамятстве бросился бежать в поле. Это была скачка!

К счастью, пологие холмы римской Кампаньи очень удобны для такого спорта, а Я оказался бегуном не из последних. Когда Я, задохнувшись, повалился на какой-то бугорок, уже не было ничего ни видно, ни слышно,

и только далеко позади топал отставший Топпи. Но что это за ужасная вещь, сердце! Оно так лезло Мне в рот, что Я мог бы выплюнуть его. Корчась от удушья, Я прильнул лицом к самой земле — она была прохладная, твердая, и спокойная, и здесь она понравилась Мне, и как будто она вернула Мне дыхание и вернула сердце на его место, Мне стало легче. И звезды в вышине были спокойны... Но чего им беспокоиться? Это их не касается. Они светят и празднуют, это их вечный бал. И на этом светлейшем балу Земля, одетая мраком, показалась Мне очаровательной незнакомкой в черной маске. (Нахожу, что это выражено недурно, и ты, мой читатель, должен быть доволен: мой стиль и манеры совершенствуются!)

Я поцеловал Топпи в темя — Я целую в темя тех, кого люблю, — и сказал:

— Ты очень хорошо вочеловечился, Топпи. Я тебя уважаю. Но что мы будем делать дальше? Это зарево огней — Рим? Далеко!

— Да, Рим, — подтвердил Топпи и поднял руку. — Вы слышите — свистят!

Оттуда неслись протяжные и стонущие свистки паровозов; они были тревожны.

— Свистят, — сказал Я и засмеялся.

— Свистят! — повторил Топпи, ухмыляясь, — он не умеет смеяться.

Но Мне снова стало нехорошо. Озноб, странная тоска и дрожь в самом основании языка. Меня мучила эта пададь, которую я давил ногами, и Мне хотелось встряхнуться, как собаке после купанья. Пойми, ведь это был первый раз, когда Я видел и ощущал твой труп, мой дорогой читатель, и он Мне не понравился, извини. Почему он не возражал, когда Я ногой попираю его лицо? У Джоржа было молодое, красивое лицо, и он держался с достоинством. Подумай, что и в твоё лицо вдавится тяжёлая нога, — и ты будешь молчать?

К порядку! В Рим мы не пошли, а отправились искать ночлега у добрых людей поближе. Долго шли. Устали.

Хотелось пить — ах, как хотелось пить! А теперь позволь тебе представить моего нового друга, синьора Фому Магнуса и его прекрасную дочь Марию.

Вначале это было слабо мерцающим огоньком, который «зовет усталого путника». Вблизи это было маленьким уединенным домиком, еле сквозившим белыми стенами сквозь чащу высоких черных кипарисов и еще чего-то. Только в одном окне был свет, остальные закрыты ставнями. Каменная ограда, железная решетка, крепкие двери. И — молчание. На первый взгляд это было подозрительное что-то. Стучал Топпи — молчание. Долго стучал Я — молчание. И наконец суровый голос из-за железной двери спросил:

— Кто вы? Что надо?

Еле ворочая высохшим языком, мой храбрый Топпи рассказал о катастрофе и нашем бегстве, он говорил долго, — и тогда лязгнул железный замок, и дверь открылась. Следуя за суровым и молчаливым незнакомцем, мы вошли в дом, прошли несколько темных и безмолвных комнат, поднялись по скрипящей лестнице и вошли в освещенное помещение, видимо, рабочую комнату незнакомца. Светло, много книг и одна, раскрытая, лежит на столе под низкой лампой с зеленым простым колпаком. Ее свет мы заметили в поле. Но Меня поразило безмолвие дома: несмотря на довольно ранний час, не слышно было ни шороха, ни голоса, ни звука.

— Садитесь.

Мы сели, и Топпи, изнемогая, снова начал свою повесть, но странный хозяин равнодушно перебил его:

— Да, катастрофа. Это часто бывает на наших дорогах. Много жертв?

Топпи залопотал, а хозяин, полуслушая его, вынул из кармана револьвер и спрятал в стол, небрежно пояснив:

— Здесь не совсем спокойная окраина. Что ж, милости просим, оставайтесь у меня.

Он впервые поднял свои темные, почти без блеска, большие и мрачные глаза и внимательно, как диковинку